

СЕНСАЦИЯ XX ВЕКА

ПРЕДСТАВЛЯЮ, как тихо, сосредоточенно и очень доброжелательно — так приступает она к каждому делу, большому и самому малому — вьет она из руки газету и прочтет эти слова: «Сенсация XX века». И доброжелательность уйдет. Лицо ее станет отчуждением — холодноватым — некоторые только таким и знают его, — она поднимет лицо от газетного листа, и тогда мы сможем увидеть тот ее взгляд, который в свое время на Западе так точно называли «ленинградским».

Если есть понятие-антитипуск, то это именно облику Улановой, то это именно сенсация.

Но ведь и «сенсация» — не самое громкое из того, что сказано о ней. «Я не могу даже пытаться говорить о танцах Улановой... Это магия!» — Марго Фонтейн, балерина. «Гений — это совсем не слишком сильное определение для танцов Улановой!» — Мэри Кларк, писательница. Даже Эйзенштейн, человек века, отнюдь не сентиментального и танец Улановой пытающийся выразить в графической схеме, визу этой схемы записал: «Она принадлежит другому измерению».

Но можно ли вот так, на газетном листе, рассказать о человеке «другого измерения»?

Я пишу эти строки, прислонившись к окну, за долгий путь спиной к теплу русской печи, из печи тянет неизвестные или полузашибты залыши домащего теста, тихо, только изредка скривит под чьими-то редкими шагами снег за маленьким оконком, да слышно, как шумно вздыхает, возится за стеной большая рыжая корова с неожиданно-музыкальным именем Мазурка.

Зачем я сейчас здесь, в этой затерянной среди зимних лесов деревушке, где уже редко над какой крышей вьется пепельный дым и где таким далеким кажется сверкающий подъезд Большого театра, и шум аплодисментов, и длинные пластины дам, и огни реклам, и потоки людей, и колонны машин, не дающих увидеть снег белым?..

Анна Андреевна Шашулина, этой избы, где я гость, холода, согнувшись, вносит на спине вязанку дров. Дрова у печи сбрасываются, но спина у нее не расправляется. Ей 84 года. Но только ли годы не дают спине разогнуться?

...Арабеск, полуарабеск, фузте, батман, жете и как там еще их называют, эти прыжки и позы самого условленного из всех существующих искусств, и самого недолговечного, и самого, наверное, или зоркого и утонченного, — как не идут, кажется, все эти слова к этому дому, где на стенах рядом с черной самоварной трубой и связками высыхающего луга висят простенькие многочисленные фотографии и картины Шишкина, репродукции. Да еще икона.

«Хотите, я придумаю заголовок для вашей статьи?» — вспоминаю я слова Владимира Васильева, знаменитого Спартака и сына шофера, народного артиста Союза и ее, Улановой, ученика. Он смотрит на меня лукаво-весело и вместе с тем испытывающе-сердечно и вдруг выпаливает: «Погасите лампаду».

Не делайте из нее икону, иными словами...

Но по дороге в эту деревушку, в старинном городке Осташкове, где улицы носят имена — фамилии — простых русских рыбаков, зашла я в финансовый техникум. И первое, что мне показывают, вместе с добротно переплетенным дерматином планом воспитательной работы — стенд ее, Улановой, фотография. А называется стенд так: «...обыкновенная богиня».

Так говорил о ней Алексей Толстой. А Света Шорникова, ученица техникума и без пяти минут агент госстраха, скажет: «Когда об Улановой в нашем актовом зале всякие высокие слова произносили, Галина Сергеевна сидела как-то отрешенная и все в окно смотрела. Долго смотрела, а потом сказала, тихо, но я услышала: «Посмотрите, как-то закат».

Не увидеть сейчас заката на Селигер — стылое небо заслоняет солнце. Селигерские закаты и восходы показывают мне Лиду Иванову, физик, в своей коммунальной квартире старого московского дома. Лида собирает не только слайды Селигера — еще и фотографии Улановой. Рассматриваю их, я уловила неожиданную закономерность: Уланова с возрастом хорошела.

И все же, пришли мы к выводу с Лидой, ни одна, пожалуй, фотография не передает то, улановское, что роднило таких несхожих ее героинь — Золушку и Тао-Хоа, Марину и Жизель и, наконец, Джулетту, и что живет дышит в ней, даже когда она просто моет посуду или режет хлеб, и что, наверное, никакой фотокамера не уловит, а уловить лишь кисти настоящего художника.

«Какой художник, как вам кажется, мог бы создать портрет Улановой?» — такой вопрос задала Никула Александровича Бенуа, главному художнику миланского

Скала, когда он приехал к нам в Союз. «Боттичелли, — не задумываясь, ответил он. — Вчера она вошла в ложу Большого театра, села рядом, неслышно — профиль итальянской Мадонны и что-то фарфорово-хрупкое...»

Боттичелли? Художник, своему времени — в котором богатство уживалось с нищетой духа, с ацизмом с тоской по высокому идеалу, — этому времени противопоставивший лицо фарфорово-хрупкую утонченность и болезненно-нежную грацию?

Ну, ладно, подумаем.

Лида Иванова — не коллекционер, нет. Девчонкой, давно уже любя театр, но еще не воспринимая балета, случайно попала на «Жизель». И за короткие театральные мгновения прожила с Улановой всю вековую историю непростой женской любви: сначала ее ожидание — девочкой, потом ее счастье — девушки, потом ее любовь — обманутой молодой женщиной; и, наконец, любовь по-матерински бескорыстную — когда важно не то, любят ли тебя, а важно, что ты сама любишь.

Она не только не хотела быть балерины, она не имела для этого идеальных данных. «Короток шаг», «холодновата», — такой шепот сопровождал ее долгие ученические годы.

Но вот загадка! Проходят годы, и уже не шепот, громкий хор голосов утверждает: танец — идеально врожденная стихия Улановой, как поэзия для Пушкина, как музыка для Чайковского. И ее недостатки становятся достоинствами! И даже больше — ее неповторимостью, тем самым улановским, заставляющим не только Лиду Иванову, физику, но и самых изощренных эстетов думать не о том, как она танцует, а над тем — кого. Но чтобы чувство и мысли, а не техника, занимали наше воображение, какой же незаметной, а потому безукоризненной эта техника должна быть. Проходят годы, и все они подчинены «надо» и «должна». Потому-то, наверное, она закричала тогда «не хочу» — первый и последний раз отмечая эту извечную крестьянскую привычку мерить жизнь не калориями, а над тем — кого?

...Принеся дров и напомнив Мазурку, и проверив, как там пирог в печи, Анна Андреевна возвращается к прерванному рассказу о своей женской судьбе: «Как рожь скосили — так его и взяли!», — и я в который раз отмечаю эту извечную крестьянскую привычку мерить жизнь не калориями — трудами.

Она приносит из сеней стацию свою девичью прядку: «Без нее на вечерки не пускали». И отдыши тоже труд... Прялка служит ей и сейчас, она показывает, как надо прядь, чтобы нитка выходила тонкой, но крепкой. Точно так, подобно и серьезно, объясняла мне и Галина Сергеевна, зачем свою изящную, розовую, маленькую балетную туфельку неизменно пронизывала сама суворыми нитками. «Атлас, видите, только сверху, только один слой, он красив, но непрочен. Станишь на пальцы, надорвешься атлас — уже нечестивость, уже нет чистоты. А прошьешь носок крепкой ниткой, вот так, пару туфель на спектакль, может быть, и хватит».

Розовый атлас на балетной туфле — только сверху. А там, под ним, в несколько слоев — обмыкновенная деревенская рогожка.

Только в этом доме, слушая Анну Андреевну, кем только не трудились на своей земле — от почтальона до председателя колхоза, — я вдруг задумалась над тем, что о балерине, как и о рабочем, говорят: стоит у станка.

Здесь, в этой деревне на Селигере, где Уланова в свое время провела много летних отпусков месяцев, станком ей служила обыкновенная сосновая палка, найденная в лесу. Потому что отпуска для нее тоже были работой.

Они приезжали сюда шумной, веселой компанией — артисты, музыканты, писатели, учёные — молодые, немножко влюбленные, озеро звало своим закатами и восходами, которых никогда не увидишь в городе, можно было, наконец, сбросить с себя тяжесть трудовой зимы — и все недоумевали и даже иногда сердились, что Галия по утрам не бежала, как они, к воде. А становилась к станку. Всегда, всю жизнь, и до сих пор — в любую погоду, в любом состоянии духа и тела, несмотря на радость и горе, которых выпадает, наверное, поровну, на всякую женскую судьбу, несмотря на соблазны славы, вопреки усталости, которую накапливают годы.

Такая поэтическая на сцене и такая педагогическая в быту, с удивлением, не прошедшим и с годами, восхищает одна из известных балерин, вспомнила о тех, селигерских, днях. Она начала танцевать вместе с Улановой — обе хорошо запомнили свои первые роли «божьих коровок» — вначале шла впереди нее, потом рядом, потом со сценой ушла: век балерины в Ереване, я подивилась тогда притягивавшему ее воображение: не потому что это только молодость и фантазия? Да и озеро, мне говорили, изменилось.

Она вернулась на Селигер спустя 40 лет и через месяцы после приезда из Америки —



об этих гастролях Большого театра много писали.

...И все же, думаю я, сидя на широкой деревенской лавке, у большой этой печи: а как же вдохновение? Ну вот нет его у меня — и не пишется, а у другого не рисуется, не пилится и не строгается.

«Скажите, Галина Сергеевна, — спрашивала я у Улановой, — а вы часто испытывали вдохновение?» И она, чайная девичья прядка в руках, — и я — тоже.

«Не люблю ничего преувеличенногого», — словно оправдываясь, сказала она мне.

Она вернулась на Селигер и снова села в байдарку. «Почему именно байдарка?» — спросила я ее. «Во-первых, — сказала Уланова, — в байдарке ноги отыхают в лодке согнуты. Во-вторых, лодку вообще кто-то плохо придумал: сидишь спиной. В байдарке — всегда лицом к движению». В этой короткой фразе — ее удивительная способность, которая жила и в танце, возведенном к красоте естественной.

Она села в байдарку и снова слушала тихий плеск селигерских волн о песчаные отмелы, широкие раскрывающиеся на рассвете белых куничек, вглядывавшиеся в зеленый дарль островов, а на островах — она знала — свои озера, а в них — свои острова, а там дальше — одинокий ивойский куст на берегу, а за ним тропинка, протоптанная еще лаптями, а еще дальше — деревенский домик, где бьется родник, который становится потом Волгой. Родина.

Но как же просто найти и как непросто прятать найденное... А ее танец, читая я в книге давних лет, «вызывает представление не о кружах и водопадах», а «о равнинных далах и зеркальной глади бесконечных рек», и, уже сегодня, снова: «Ее ритмика была не городской и не сельской, а скорее озерной».

«Монголочкой» называла ее в школе учитель за скучество, а «Этюдочкой», — говорила подруга, отмечая ее голубые глаза и белые волосы.

«Итальянская мадонна», — сказал Бенуа. Но он же сказал мне и другое: «Але slave» — вот кем явилась Уланова для Запада. «Але slave» — славянская, русская душа.

Да, просто найти, но как непросто, мы это уже знаем, не замутить найденное — и грохотом Ниагары, и блеском витрины, и птицами на концах ветвей.

...А Уланову писал Сарьян, армянин. Увидев давно, еще до встречи с Галиной Сергеевной, этот портрет в его музее-мастерской в Ереване, я подивилась тогда притягивавшему ее воображение: не потому что это только молодость и фантазия? Да и озеро, мне говорили, изменилось.

Приятель из Еревана, я подивилась тогда притягивавшему ее воображение: не потому что это только молодость и фантазия? Да и озеро, мне говорили, изменилось.

Из дома Анны Андреевны

до озера нескошко шагов. Но озеро неразличимо: сковано льдом, засыпано снегом, и только полынь — живая вода во льду — позволяет его найти.

Он вернулся на Селигер спустя 40 лет и через месяцы после приезда из Америки —

многие озерные. Такая она чистая. Здесь, невдалеке от живой воды, и стоял дом, куда Анна Андреевна носила «Галины письма». Здесь у монашки Кати Улановой и жила.

Монашкой Катю прозвали не за то, что была богомольной, она и в церкви не ходила, сказала мне Анна Андреевна, а за то, что больше всего на свете любила чистоту и тишину.

То же, знала Катя, любит Галия. И потому, вспоминают сейчас, вдруг, на удивление всей деревни, стала ладить новую калитку, чтобы Галия не шумной улицей, а прежде всего на чистоту и тишину.

Портрет — правда, но не вся, об Улановой.

ДЕРЕВНЯ, где живет Анна Андреевна Шашулина, где так часто бывала Уланова, зовется Неприе. Когда-то давно остановили здесь вражеское наступление, не принесли портала — не пришли.

Поплавав по озеру, побродив по старым местам своей молодости, Галина Сергеевна нашла в дверь известной всему миру балерины Улановой — и пронесла ее вдоль и поперек, и вдруг увидела, что это выражение «звенящая тишина», и это значит, что враг в эту войну снова был установлен здесь.

Когда у Лиды Ивановой, которая показывала мне фотографии Селигера и Улановой, умерла мама, и она осталась одна, и поехала после похорон на Селигер, и поняла, что значит это выражение «звенящая тишина», и привезла в деревню Галину Сергеевну.

«Только не представляйте себе, — сказала мне Галина Сергеевна, — что озеро всегда тихое, безмежное. Можно уплыть в тишине, а потом и не выбраться — такие вдруг поднимаются волны».

Вот у Лиды Ивановой, которая показывала мне фотографии Селигера и Улановой, умерла мама, и она осталась одна, и поехала после похорон на Селигер, и поняла, что значит это выражение «звенящая тишина», и привезла в деревню Галину Сергеевну.

«Только не представляйте себе, — сказала мне Галина Сергеевна, — что озеро всегда тихое, безмежное. Можно уплыть в тишине, а потом и не выбраться — такие вдруг поднимаются волны».

Когда у Лиды Ивановой, которая показывала мне фотографии Селигера и Улановой, умерла мама, и она осталась одна, и поехала после похорон на Селигер, и поняла, что значит это выражение «звенящая тишина», и привезла в деревню Галину Сергеевну.

«Только не представляйте себе, — сказала мне Галина Сергеевна, — что озеро всегда тихое, безмежное. Можно уплыть в тишине, а потом и не выбраться — такие вдруг поднимаются волны».

Когда у Лиды Ивановой, которая показывала мне фотографии Селигера и Улановой, умерла мама, и она осталась одна, и поехала после похорон на Селигер, и поняла, что значит это выражение «звенящая тишина», и привезла в деревню Галину Сергеевну.

«Только не представляйте себе, — сказала мне Галина Сергеевна, — что озеро всегда тихое, безмежное. Можно уплыть в тишине, а потом и не выбраться — такие вдруг поднимаются волны».

Когда у Лиды Ивановой, которая показывала мне фотографии Селигера и Улановой, умерла мама, и она осталась одна, и поехала после похорон на Селигер, и поняла, что значит это выражение «звенящая тишина», и привезла в деревню Галину Сергеевну.

«Только не представляйте себе, — сказала мне Галина Сергеевна, — что озеро всегда тихое, безмежное. Можно уплыть в тишине, а потом и не выбраться — такие вдруг поднимаются волны».

Когда у Лиды Ивановой, которая показывала мне фотографии Селигера и Улановой, умерла мама, и она осталась одна, и поехала после похорон на Селигер, и поняла, что значит это выражение «звенящая тишина», и привезла в деревню Галину Сергеевну.

«Только не представляйте себе, — сказала мне Галина Сергеевна, — что озеро всегда тихое, безмежное. Можно уплыть в тишине, а потом и не выбраться — такие вдруг поднимаются волны».

</div